

Мирослав Бакулин

Зубы грешников



Мирослав Юрьевич Бакулин

Зубы грешников (сборник)

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8231231

*Бакулин Мирослав Юрьевич. Зубы грешников. Рассказы: Сибирская
благозвонница; Москва; 2012*

ISBN 978-5-91761-155-6

Аннотация

«Зубы грешников» – сборник рассказов, в котором обыденная жизнь описывается автором с юмором и любовью и повседневность раскрывается в ее скрытой глубине и красоте. Каждый, кто знаком с прозой яркого и самобытного писателя-сибиряка Мирослава Бакулина, согласится с тем, что от его рассказов невозможно оторваться. После их прочтения остается нечто большее, чем просто радость от интересной и глубокой книги. Вероятно, это частица богатого, неподдельно христианского ощущения жизни и ее смысла, которым автор щедро делится с читателем.

Содержание

Про Васю Курицу	6
Апельсиновый кекс	15
Университет	20
Заговоренный	29
Фотография	45
Воры	51
Деньги	56
Сребролюбие	60
Холуй	64
Встреча	71
Конец ознакомительного фрагмента.	76

Мирослав Бакулин

Зубы грешников. Рассказы

Посвящается моим родителям: Юрию Степановичу и Галине Дмитриевне.

Бабушка бежит за архимандритом:

– Батюшка, батюшка, благословите зубы вставлять?

Он удивленно:

– А зачем зубы грешникам? В Писании сказано: «Зубы грешников сокрушил еси» (Пс. 3, 8).

Рекомендовано к публикации Издательским советом Русской Православной Церкви ИС 12-205-0349

© М. Ю. Бакулин, 2012

© Издательство «Никея», 2012

Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.

Дорогой читатель!

Выражаем Вам глубокую благодарность за то, что Вы приобрели легальную копию электронной книги издательства «Никея».

Если же по каким-либо причинам у Вас оказалась пиратская копия книги, то убедительно просим Вас приобрести легальную. Как это сделать – узнайте на нашем сайте www.nikeabooks.ru

Если в электронной книге Вы заметили какие-либо неточности, нечитаемые шрифты и иные серьезные ошибки – пожалуйста, напишите нам на info@nikeabooks.ru

Спасибо!

Про Васю Курицу

Заболел я сильно. И случилось это на Севере, у поселка Мужи. Надоело мне быть городским хлыщом, преподавать молоденьким девушкам философию в университете, слушать модную музыку и ходить по одним и тем же улицам. Надоело страшно. Посему я нанялся к одному авантюристу матросом на речной флот. Нужно было дойти от Тюмени до Салехарда, по дороге принимать рыбу у местного населения и складывать ее в морозильник.

Увидел я новую для меня жизнь, настоящих людей, гадости увидел много. На себя самого посмотрел со стороны. Короче, развеялся. И философия, и девушки, и улицы вновь стали родными, милыми и приветливыми. Полезно вот так иногда сменить жизненное пространство.

Одна история из моего северного похода запала в душу. С собой в дорогу я взял Библию и книгу митрополита Суражского Антония «О вере и Церкви». Эти книги перевернули тогда многое во мне.

И был с нами на корабле человек такой – Вася Курица. Он возвращался в Мужи после короткой отсидки в тюрьме за какие-то темные дела нашего хозяина-авантюриста. Вася был сорокапятилетним крепким мужиком с суровым лицом и добрыми светлыми глазами. Говорил он негромко, но всегда по делу и толково. Он давно жил в тайге, в своей избуш-

ке, охотился и рыбачил. Добычу менял на топливо для моторки и необходимые припасы. Таких, как он, люди называют «хороший человек». Во всем он хотел видеть положительные стороны. Даже рассказывая о тюрьме, говорил, что там учат всему, чему не успела научить мама: мыть руки после туалета, быть вежливым, разговаривать с людьми уважительно... Попробуй не вымыть руки после параша, с тобой никто здороваться не будет.

Но меня одно смущало в этом хорошем человеке – не видел я веревочки на его шее. Веревочки или цепочки, на которую вешают главную персональную святыньку – нательный крест. И спросил его об этом:

– Где у тебя, Вася, крест? Ты что, в Бога не веришь?

Он покосился с недоверием на меня и на мою Библию и сказал:

– Верить надо, когда страшно.

На этом наша богословская дискуссия и закончилась. Больше я к нему не приставал.

Через две недели мы оказались у Мужей. А еще через две недели Вася позвал меня прогуляться в недалекий мансийский поселок, километров тридцать ниже по реке. К тому времени я уже отведал сырой обской воды и жестоко отравившись, лежал с температурой. Добивали еще белые ночи: солнце, проделав круг по небу, вставало за кусты и через час снова неторопливо карабкалось вверх. Проснувшись, невозможно было определить, утро это, день, вечер или ночь

– все время светло.

Чтобы как-то развеяться, я согласился поехать. Мы съездили до поселка, поговорили с мужиками, поели нерхи – тухлой подсоленной сырой рыбы – и отправились обратно. Вот здесь-то Васе и захотелось показать мне всякие разные протоки обские, которых там сотни, и они разрезают тайгу, как улицы в большом городе. Никто в совершенстве не знает этих мест. Потеряться там – запросто. А у Васи было чудное настроение, он палил из ружья по мелькавшим на берегах животным, захлеб рассказывал об их повадках, шутил. И все время круто поворачивал в первый подходящий проливчик. Короче говоря, мы заблудились. И у нас кончился бензин. Двигатель фыркнул в последний раз и заглох. Наступила тишина. Лодку стало сносить.

– Ничего, куда-нибудь да вынесет, – подмигнул мне Вася, – здесь кругом люди, по человеку на квадратный километр.

Около часа нас несло течением. Вдруг мы увидели дымок на берегу и стали на веслах подгрести к берегу. Навстречу нам вышла немолодая «сарафанка». Так здесь называют коми-зырянку, потому что они всегда ходят в национальной вышитой одежде. В руках она держала ружье. Слова ее были просты:

– Идите отсюда!

– Это новая жена Болгарина, – прошептал Вася.

Болгарин, местный мужик, тоже промышлял в тайге. Зи-

мой он любил пьяным рассекать на своем «Буране» и поэтому постоянно ломал то руку, то ногу о твердый снежный наст. И так как к врачам не обращался, то и руки, и ноги срастались неправильно и криво. Особенно это было заметно, когда Болгарин пил водку. До стакана он «добирался» весьма непросто, через сложные телодвижения, напоминающие брейк-данс. Как-то, глядя на это, я вспомнил игрушку-трансформер, которая превращается то в робота, то в автомобиль. Мое сравнение тогда всех развеселило, и Болгарина стали незлобно обзывать Трансформером. К сезону он нашел себе жену-сарафанку, потому что ни одна русская не выдержала бы ни условий тайги, ни общества угрюмого Болгарина. Вот эта новая жена и держала нас на прицеле.

– У нас два выхода, – сказал Курица, – мочить бабу и искать топливо или валить отсюда, пока она не начала стрелять.

– Ну что ты! Нужно объяснить ей, – начал было я.

– Понимаете, мы оказались в сложном положении, у нас кончился бензин, а до стоянки наших барж километров пятьдесят...

Женщина посмотрела на меня и взвела курок. Стало понятно, что стрелять она действительно будет.

Пришлось отчалить. Нас долго сносило течением, пока мы не наткнулись на избушку на берегу, в которой спал олений пастух-зырянин. На одном из многочисленных островов он пас оленей своего богатого родственника. Усталые и из-

можденные, мы упали спать в сено.

Наутро я обнаружил, что совсем разболелся, меня лихорадило. К тому же испортилась погода, на реке начиналась буря, шел мокрый снег. Ветер с яростью бросал белые хлопья во взбаламученную свинцовую реку. Бледный и ослабший, кашляя, я вышел из избышки, пройтись с ружьем по острову.

Небо... Меня поразило небо. Оно было низким-низким. Небольшие облачка проносились, кажется, над самой головой. Я стал молиться. Вдруг из соседних кустов вспорхнули утки. Из какого-то детского азарта я выстрелил и подбил одну. Раньше я никогда не ходил на охоту и не стрелял уток. И вот у меня на руках лежала мертвая птица. Еще теплая. Ее остывающее тепло тогда мне о многом сказало.

Мне стало так плохо от себя, от глупого выстрела, от жизни, которая покинула Божью тварь и медленно вытекала из меня. Я сел на кочку и стал думать о Боге, о жизни, о себе. Здесь, в тайге, среди бури и снега, все нарастающего природного катаклизма внутренний катаклизм уставшего слабака-интеллекта казался глупой загогулиной на ладонях Бога. Да, я сидел на кочке перед мертвой птицей и вдруг совершенно отчетливо ощутил себя на ладони у Бога. Тогда, на острове, я понял, **ДЛЯ ЧЕГО** я уехал из города и **ЧТО** я должен был найти **ЗДЕСЬ**.

Поясню другим примером.

Одна студентка пришла ко мне однажды посоветоваться. Как-то в воскресенье она сидела с мужем и вязала, муж пил

пиво и смотрел телевизор, их маленький сын ползал на ковре и играл сам с собой. И вдруг этой молодой женщине стало невыразимо скучно. Она подумала, что вот так пройдет вся жизнь: она будет вязать на диване, муж – смотреть телевизор, ребенок – ползать... Из глубины тоски она позвонила подружке, ее позвали на вечеринку, где она много выпила и изменила мужу с каким-то незнакомым парнем. Ей было ужасно горько. Она рыдала. И вдруг она увидела свою комнату, где она сидит с мужем на диване, где ребенок ползает по ковру, внутри маленького прозрачного шарика. Все то, что было ей дорого, что созидалось каждый день, все настоящее и любимое, вся эта близкая нашему сердцу и столь незаметная с короткого расстояния повседневность, все это вдруг повисло на тоненькой ниточке, готовой в любой момент оборваться. Все, что казалось надежным и незыблемым, стало призрачным и невозможным. Что мне было ей посоветовать? Я предложил ничего не говорить мужу, которого она на самом деле сильно любила, и примириться с Богом, покаяться и понести епитимью, если священник ее благословит. Она согласилась и, помолчав, добавила:

– Теперь я понимаю, почему в Церкви говорят про спасение. Я поняла, ЧТО нужно спасать: любовь, мир в семье, радость жизни. Нужно ежедневно спасать это, потому что все это – такое хрупкое.

Вот и я понял, ЧТО нужно спасать. Понял – значит, нужно жить, значит, нужно возвращаться.

Я вернулся в избушку и обнаружил, что к нам присоединился Сашка Четырехгубый. В какой-то драке ему рассекли лицо, и губы не срослись, поэтому, когда он говорил, шевелились все четыре половинки губ, как у муравья. К нам на остров его загнала буря. Но у него в лодке оставалось немного горячего.

Буря и болезнь моя, однако, усиливались. Через день я совсем ослаб; как мне казалось, стал помирать.

Вася понял, что мне срочно нужно в больницу. Как только буря начала ослабевать, стали готовиться к выходу. В лодку Четырехгубого загрузились я и Курица. Вася отmaterил по своей старой привычке двигатель, его маму, его изобретателя и всю систему внутреннего сгорания.

За время бури вода приобрела дикий оттенок битого пивного стекла, ветер гнал куски грязной пены. Мы оттолкнулись от берега, лодку здорово качало. Шел дождь. Васька дергал двигатель, он все не заводился.

– Не приведи, Господи, на большой воде встанет, – сказал я.

– Ты еще не представляешь, что творится на большой воде, – ответил Вася, – там волны метровые. А нам надо будет метров четыреста до острова идти. Дойдем ли, не знаю.

И снова стал материть двигатель. Четырехгубый молчал, вцепившись в борт лодки. Наконец мотор взревел, и Вася на полном газу выстроил лодку на середину протоки. Перед нами замелькали речные повороты. Курица вел лодку лов-

ко, лишь иногда она зарывалась носом в волну, и тогда мы, и без того мокрые, покрывались градом ледяных капель. Я держался за борт и судорожно молился: «Господи, помилуй! Господи, помоги!»

Вдруг лодка из очередной протоки выскочила на заросший травой луг. От неожиданности я привскочил и чуть не выпал.

– Здесь протока поверху травой заросла, – прокричал Васька, – не бойся, я фарватер знаю!

Через час мы наконец добрались до большой воды. Я впервые увидел, что такое шторм на Оби: дождевые и снежные струи, свиваясь, вонзались в высоченные пенистые волны.

– Смотрите, – поверх воя ветра и рева мотора прокричал Васька, – за каждой волной идет желоб! В это углубление нам нужно встроиться лодкой и идти по нему. Если отвернем, лодка перевернется. Если лодка перевернется, снимайте одежду и пытайтесь плыть к берегу. В одежде сразу утонете.

Он погазовал двигателем и встал, всматриваясь в реку, ожидая, видимо, выгодного желоба в волнах. Мы судорожно вцепились в борта, было по-настоящему страшно.

Вдруг Вася повернулся ко мне, глаза его яростно блеснули, и он прокричал:

– Вот ты меня спрашивал, верю ли я в Бога. Я сказал, что верю, когда страшно. А страшно... – он наклонился ко мне, –

а страшно ВСЕ ВРЕМЯ!

Он рванул рубаху на груди. Там, прямо на коже, был вытатуирован большой православный крест.

– Ну, с Богом! – прокричал он и рванул двигатель.

Как мы добрались до острова, я не помню. Помню только, что я почти кричал: «Господи, помилуй!», помню брызги и вой ветра.

Когда мы оказались на нашей барже, я ввалился в кубрик, сделал себе обезболивающий укол в ногу через штаны, а мужикам налил спирту. Они выпили, сняли с себя мокрые рубахи, вышли на палубу и начали драться. Они били друг друга молча. Потом стояли усталые и тяжело дышали, так из них выходил страх.

Потом я попал в больницу. И вскоре вернулся в свой город. Про Васю я знаю только то, что недавно он отморозил пальцы на руках и ногах, но на лыжах, говорят, ходит.

Апельсиновый кекс

Она сказала мне:

– Фруктовые кексы очень вкусны, пока еще теплые.

– Я не ем кексы.

– У меня есть апельсиновый кекс. Он очень вкусный. Хочешь?

– Я не ем сладкого, я не ем шоколада, не ем молочного, не ем фрукты.

– А что же ты ешь?

– То, что дают или что есть сейчас.

– Но апельсиновый кекс – это же так вкусно.

– Для меня это то же самое, как если бы мне налили стакан мазута и предложили выпить. Для меня не существует апельсиновых кексов, они не входят в мою галактику.

Я вспомнил, как оказался в глухой сибирской деревне, от которой остался один дом. В нем жил старый дед. Остальную деревню он потихоньку разобрал на дрова. Оставил только этот дом, в котором оборудовал церковь и где молился неспешной, иногда на целую ночь, молитвой.

Дороги в деревню не было. Добраться можно было только по воде, свернув с основного русла в лес по небольшой речушке. Но никто не сворачивал сюда много лет. Электричества нет, вода из колодца, еда бегают и растут в лесу.

Особенно дед обрадовался хлебу, точнее, килограммово-

му пакету с мукой:

– Просфоры буду теперь печь.

Короче, я оказался в далеком прошлом. Разговаривали неторопливо, дед покашливал, сказывалась привычка не пользоваться голосом. Охотников-хантов он давно отвадил, да и слава о нем шла такая – поговаривали, что не все с ним чисто. Короче, он давно людей не видел. Смотрел мимо меня, куда-то внутрь пространства, и вопросы его были направлены туда же. Мы сидели у его дома на завалинке. Честно сказать, я оробел маленько. Он сначала помолчал со мной для затравки. Потом спросил:

– Войны нету большой?

– Нету. Так, кой-где воюют.

– Это плохо, значит, не сильно-то спасается народ. Что там в будущем?

– В будущем?

– Ну, ты же из будущего. Относительно меня.

– Получается так. Ну что там? В общем – скучно: мобильные телефоны, компьютеры, космические корабли, автомобили.

– Облегчил, значит, народ себе жизнь механизмами. Руками-то работают?

– Да мало.

– А что говорят, добрые-то победят?

– Говорят, что внешне для человеческого обозрения проиграют, а внутренне – победят.

– Ты про Царство Небесное?

– Ну да.

– Так если его здесь не построить, его и ТАМ не будет.

Хотя глубоко сердце человека...

Мы помолчали.

– А что, веруют люди еще?

Он поворотил на меня синие свои глаза и посмотрел, как ребенок на мамку.

– Немного совсем.

– Христос-то им нужен?

– Не знаю. Теперь особо никто не общается. Обходимся без задушевностей.

– С другой стороны, кабы все верующими стали, какой прок всех спасать?

Я не понял, поежился. Он продолжил:

– Я вот в нелюбви к миру человеческому здесь живу, каюсь пред Господом-то. Об чем мне с ними, с людьми-то? Убивать будут, пусть убивают, я привыкший. Я вот сколько здесь один, а все от людей отвыкнуть не могу, привязалось оно и здесь где-то стоит.

Он глухо постукал по старческой груди.

– Дитя живет при матери, солдат при смерти, а я – при этой нелюбви своей. Я себе и могилку придумал, дерну за веревочку – она меня сама закопает.

– Живой еще, что ли, дернешь?

– Почему живой? Как помирать соберусь, руку привяжу,

и как только рука ослабеет, меня и засыплет.

– Так ведь живой еще можешь быть. Самоубийство все же...

– Да какая разница, я и так мертвец. Я уж теперь наверняка знаю, что спастись среди людей надо, да только мне ходу в мир человеческий нету. Любовь между людьми тонкой нитью все связывает. Господь одного святого в Царство Небесное потянет, а за ним все привязанные этой ниточкой потянутся. Враг людской тоже сети расставил, один грешник в ад упадет, за ним все, грехом связанные, посыплются. И где слабее нитки, там и рваться начнет, вот тебе и суд. Раздерется человечество, как платок, надвое. Да и разодралось уже, поди.

– Романтичные у вас размышления.

– Станешь тут в лесу романтичным. У меня и разговору-то здесь только со зверями, а они – народ простой, без приподвыперта.

Мы помолчали. Я достал из рюкзака упакованный в золотинку апельсиновый кекс. Он подержал его в руках, поразглядывал:

– Это что?

– Сладость, кекс апельсиновый. Скушайте.

– Да нет, мне нельзя, у меня свой строй жизни, баловать нельзя, а то загрузу. Ты его бабе дай, бабы сладкое любят. Или засуши да потом на елке к Рождеству ребятишкам повесишь. Они в чае его размочат да и съедят.

Он улыбнулся, подумав о детях. Только их одних он допускал из нелюбимого человечества до старого сердца своего.

Я вспомнил про кекс только дня через четыре. Стоя на переправе через Обь, я достал кекс и развернул золотинку. Кекс зачерствел и давно подернулся зеленой плесенью. Я оглянулся, на кекс голодными глазами смотрела лайка. Тощая лайка, которая отбилась от хозяина, заигравшись на сеновозе, и долго оставалась одна на острове. Ее подобрала рыбоприемщики и сейчас переправляли в поселок, где был порт ее приписки. Она смотрела на меня, точнее, на кекс. Я знал, что лайка на станет есть не из рук хозяина. Но почему-то бросил кекс ей. Она понюхала, сглотнула слюну и, поиграв лапой, столкнула кекс в холодную и мутную воду реки. Кекс упал, от него пошли по воде радужные масляные разводы. Он немного покачал в волне своим золотым и довольным боком, потом пошел в гости к щекурам и пыжьянам.

Университет

(Рассказ старика)

Взяли меня из-за моего пристрастия к классической литературе. И дали-то десятку, а огреб я там все свои университеты. А начиналось все простенько и задушевно. На первом курсе филологического задали нам учить стих «О Лесбия, о нимфа», а в группе из парней был я один, да еще этот рыжий подонок. Я спрашиваю девчонок: «А кто это – Лесбия?» Ну, они мне рассказали. Оказалось, что греки жили симпатично, без особых затей. И вот написал я первую курсовую, сделал сравнительный текстологический анализ «Метаморфоз» Апулея и «Золотого осла» Лукиана с параллельными местами из персидской поэзии. Казалось бы, альковные утки, а следователи отнеслись к этому весьма с пристрастием. Вспомнили мне утерю комсомольского билета и поцелуйчики в мойке третьей общаги. И накатали за эти поцелуйчики десять лет без права переписки. До Воркуты мы ехали в теплушках, воду нам не давали, и мы сосали грязные черные сосульки, которые получались от нашего дыхания на потолке. Здесь бал правили рецидивисты, они были «социально близкими». А я со своей альковной контрреволюцией оказался «политическим». Меня как-то сразу окружили интеллигенты и попы, потом в лагере я их и держался. Хотя сказать

«держался» – не вполне точно, там держались только пайка и почти больше ничего. Странные университеты это были. Вот стоит крепкий председатель колхоза, которого взяли за проросшую на обочине копенку из просыпанного пшена, а перед ним гном-конвойный. Председатель просит его:

– Вы видите, профессору Виноградову совсем плохо, пожалуйста, выдайте ему хотя бы четверть пайка.

– У вашего профессора паек на верху березы привязан. Вот и пилите.

И мы валили деревья. И люди валились, как подпиленные. Через полгода из нашей теплушки осталось только трое: я, председатель и поп. Поп этот оказался большим затейником и веселым человеком. В лагере было много священников и даже епископов. Некоторые очень строго держались старой веры, трое даже как-то залезли в колодец и там, на перевернутом ведре, служили литургию. Сделали себе епитрахили из мешковины, слепили из хлеба просфоры, надавили морошки в какую-то посуду, которую взяли с кухни. Из-за этой посуды и погорели. Взяли их как раз, когда они причащались, стоя по колено в ледяной воде на дне колодца. Начальник лагеря приказал колодец вместе с ними засыпать, а в пятидесяти метрах поодаль вырыть новый. Заживо и засыпали.

Наш поп Николай все смеялся над ними – и когда они звали его с собой, и потом, когда их засыпали. Он все картишки блатным благословлял, говорил только про баб и составил акафист чашке кипятка. Очень мы развлекались, когда

он читал его по вечерам нараस्पев.

А потом нас клопы замучили. Так он придумал молебствие, чтобы наши клопы пошли войной на клопов соседнего барака, как на Трою. И три дня прыгал вокруг кровати, крестил все вокруг. Шутки шутками, но в диаметре трех метров от его кровати клопы пропали, и первым это понял я, потому что спал рядом с отцом Николаем. Уже через неделю я проиграл это место в карты, а потом рядом с попом могли спать лишь паханы, потому что клопов не было только у его нар. Потом его стали таскать к лагерному начальству, он возвращался совершенно пьяный и всегда говорил, что возвращается из Каны Галилейской¹. Блатные трезвонили, что он стучит на всех. Однажды его притащили без чувств, а на его левой руке не хватало двух пальцев – мизинца и безымянного. Ночью он очнулся и, как оголтелый, бегал по бараку, вытянув перед собой правую руку, как факел, всем ее гордо показывал и кричал: «Правая цела, правая взяла!» Но его прыть охранники окоротили прикладом.

Вскоре поп Николай стал медленно сходить с ума. Однажды он напялил на себя найденную где-то рваную женскую юбку и носил ее под робой. Его уже почти не вызывали к начальству. Он стал спать в обмотках, которые никогда не снимал, и все чаще говорил по-иностранным с какими-то дикими выкриками, почти лаем. Один учительшка определил в

¹ *Кана Галилейская* – известное из Священного Писания поселение в Галилее, где Иисус совершил свое первое чудо – претворение воды в вино.

лае французский и греческий. Блатные начали сторониться его. Он уже не благословлял карты, а только пел частушки:

Сидит кошка на заборе,
Вышивает новый хвост,
Парни Пасхи не дождались,
Напились в Великий пост.

Скоро его перевели в медицинский барак, где оставляли только помирать. Скоро и я попал туда, получив гвоздем-двухсоткой в брюхо от одного пронирыливого зека. Там поп Николай взялся за меня. Врачи думали, что у меня перитонит, и оставили меня в покое. Отец Николай вытащил меня, почти бесчувственного, в ближайший лесок, положил рядом с пеньком и быстро-быстро зашептал что-то. Голова ходила чугуном, я слабо понимал, что он хотел делать. Вдруг он схватил меня за голову, прижался ко мне и стал шептать в ухо:

– Ты... ты... хочешь новой жизни?

Он смотрел мне в глаза дикими бегающими зрачками:

– Ты хочешь снова родиться? Понимаешь, родиться!

Глаза его безумно сияли:

– Ты хочешь родиться в вечность?

Я облизнул обсохшие губы:

– Батя, ты чего? Видишь, я помираю.

– А я вот тебя и спрашиваю, таракан ты эдакий, ты хочешь не умирать вечно? Хочешь?

– Ты чего?

– Хочешь быть со Христом?

– Ты меня добить собрался, так добей, мне жить часы остались, да и лучше умереть, чем так жить.

– Ты молодой, ты еще не знаешь жизни. Будешь со Христом?

– Ты меня крестить, что ли, хочешь перед смертью?

Он, безумный, сияя глазами, радостно закивал. Мне было, собственно, уже все равно. Еще раньше в детстве меня хотела крестить бабушка, но отец запретил ей, меня даже, кажется, наоборот – «звездили». На первом курсе я читал Евангелие, и Христос мне тогда показался настоящим революционером. Но теперь – перелесок рядом с больничным бараком зоны, в котором меня скоро и закопают... И вдруг во мне мелькнула слабая надежда, может, клопы сделали свое дело. Я кивнул:

– Валяй, батя...

Он стоял рядом на коленях и шептал что-то, а потом волок меня к единственной маленькой неглубокой лужице, которая осталась посреди рощи. Спина моя намокла, мне сделалось хуже, я стал терять сознание. В какой-то момент я увидел, что поп Николай с ужасным, искореженным лицом вдавливая своими руками мою голову в грязь. Уши уже были забиты, я оглох и убоился, что он хоронит меня вот так страшно, стал хвататься руками за его горло, но грязь залила мне лицо, и я потерял сознание. Очнулся только на третьи

сутки. Врачи называли меня сукиным сыном, говорили, что я родился в рубашке. Температура сошла на нет, а рана стала затягиваться.

Когда через две недели я выбрался из барака, то увидел отца Николая, который сидел на любимом пеньке в рощице и рассматривал свои босые белые ноги. Я с ужасом увидел, что все пальцы на ногах у него ампутированы. А он весело пел какие-то частушки. Теперь говорили, что его оставили варить похлебку для больных и выгребать нужник в санчасти. Я подошел к нему:

– Мне тогда померещилось, ты меня убить хотел?

– А я и убил. Ты помер, нет тебя.

– Тогда чего про Христа говорил?

– Хочешь Его увидеть?

– А где Он?

– У меня за пазухой. Вот, гляди.

Он достал из кармана какую-то тряпицу и постелил ее на пенек, потом вынул красный квадратный платок с рисунками и надписями и постелил поверх тряпицы. Сверху он водрузил портновский наперсток, в который вылил что-то бурое из медицинской пробирки. Он показал мне на эту композицию на пеньке рукой и, как всегда, с сумасшедшим взглядом добавил:

– Прошу тебя, познакомься, это – Христос!

Меня скорее развлекала вся эта сцена, чем пугала.

Я был очень рад, что остался жив.

– Так что, примешь Господа своего?

– Это съесть, что ли, надо?

Он опять радостно закивал головой. Потом вдруг стал серьезным и добавил:

– Только покаяться нужно.

– Это как?

– Рассказать, что сделал нехорошего.

– Чтобы ты потом меня начальству лагеря сдал, а они тебе водки за это налили, а меня – под вышак?

– А ты не говори того, за что ОНИ тебя под вышак могут подвести.

Это стало меня забавлять, я давно не развлекался в лагере. Было похоже на шпионскую игру. И я начал издали, рассказал про Лукиана и Апулея, про альковные страсти и поцелуйчики в мойке общаги. Он радостно кивал, ему, любителю частушек про баб, это, видимо, нравилось. Я рассказал ему про филологический и про то, как выпил из папиной бутылки в детстве, а свалил все на брата. Вспомнил про ворованные ягоды, которые протекли сквозь карман моих штанов, все увидели, и мне было стыдно. И вдруг мне стало невыносимо жалко себя, я вспомнил неудавшуюся свою юность и зарыдал. Я плакал, уткнувшись в его колени, на которых до сих пор тряпьем красовалась изношенная женская юбка. Я оплакивал свою кривую жизнь, которая показалась такой маленькой и ненужной перед чем-то огромным, о чем я грезил в университете. Я рыдал, а он гладил меня по голове,

и обрубки пальцев на его левой руке смешно царапали мою обритую голову. Вдруг он остановил меня, обтер мне лицо и спокойно сказал:

– С Богом!

И опрокинул содержимое наперстка мне в рот. Я, всегда голодный, немедленно проглотил, почувствовав вкус морошки и хлеба. Это было мое первое причастие.

А потом жизнь стала совсем другой. Отец Николай совсем немного говорил со мной, готовил меня к своей смерти. Действительно, скоро пришло какое-то письмо, его забрали, снова допрашивали, а потом доктор сказал, что отца Николая расстреляли.

Затем было девять лет лагерей. После чего я забрался от советской власти за полярный круг, жил в таежной избушке дикарем, охотился и рыбачил. Читал Евангелие и другие священные книги, которые смог выменять у охотников. Раз в году я служил Литургию на антиминсе² отца Николая, просфору вырезал из хлеба, вино делал из лесных ягод. А потом оказалось, что все изменилось, но я был уже старый, и первый поп, которого я увидел после отца Николая, сказал мне, что я не мог причащаться, потому что я не священник. И я не стал с ним спорить. Я просто умер, и первого, кого я увидел ТАМ, был поп Николай. Он, как всегда, был веселым, обнял

² Антиминс (греч. ἀντι – вместо и лат. mensa – стол) – четырехугольный плат, на котором во время Литургии совершается претворение хлеба и вина в Тело и Кровь Христову.

меня. И когда я рассказал ему про новые времена и мои затруднения, он улыбнулся и сказал:

– Сказано в Писании – по вере вашей будет вам.

Заговоренный

В небольшом селе Посново жил старик Николай Александрович Жегин. Старик дельный, твердый, односельчане его уважали и даже побаивались. Звали его все Дед-Непосед. А история его была простая. В юности жил он в средней России в неприметном селе Зайчики. Отца его расстреляли по доносу во времена революционного лихолетья, и Коля с тремя братьями, двумя сестрами и матерью жили тем, что Бог пошлет. Коля был самым маленьким. Советская власть семью Жегиных не жаловала, потому что мать Коли была женщиной набожной и на одной стене с портретом товарища Сталина имела Казанскую икону Божьей Матери, молилась по ночам сама и детей старалась воспитать в страхе Божьем. Но дальше жизнь разбросала детей. Старшие пошли по партийной линии, девки выскочили замуж за военных. И только Николай был утешением матери, да вот беда – любил он баловать, дурить да драться, и мать с ним ладу не знала. Особенно Николай уважал подраться и имел особое мастерство, которое досталось ему от родного дядьки Мефодия. Тот научил его настучать врагу «в бубен», кинуть противнику «плюху», дать «рюмочку с закусочкой», сделать «журавля» или «куличика»... Он перенял, а тот и плясал, и дрался с одним жаром любым макаротом. Искусство этого боевого пляса – «буза» – досталось Мефодию от деда, а тому от его деда. Вроде чело-

век пляшет под гармошку, но только скинет он пиджак с одного рукава, как все на танцуйках понимают, что хочет он подраться. Если пляшут в избе, то гармонисту голову женским платком повяжут (чтобы, случаем, не порезали), девки с визгом – под скамейки, лампы керосиновые задувают, парни достают ножи из-за голенища, и пошла поножовщина в полной темноте. Гармошка поет свое, парни пляшут, кулаками да ножами машут. Иной раз и полчаса, и час бьются, но так никто никого и не порежет, вот как оружием владели. Удары-то одни и те же, что мужик дрова колет, что косой траву косит, что сено граблями шевелит, что веслом гребет, теми же движениями танцуют, ими же и воют.

Однажды Коля сильно захворал. В жару он пролежал несколько дней, и районный врач посоветовал готовиться к худшему. Мать завернула бесчувственного паренька в простыню, укутала и повезла в лес, где в охотничьей избушке два беглых монаха организовали скит и жили тихо, для безбожной власти неприметно. В селе их считали колдунами и ходить в ту сторону боялись. Мать вернулась из леса одна. Монахи оставили у себя умирающего паренька, молились над ним, натирали его отварами разных трав. Николай пробыл в скиту всю зиму. К весне, слабый, он вернулся домой показаться матери, что живой. Но скоро снова ушел в скит, потому что молитвы монахов перевернули всю его жизнь. Он перестал баловаться, стал тихим и серьезным, научился читать Псалтирь и Евангелие. Он все больше жил в ски-

ту, приходя в село, только чтобы помочь матери управиться с хозяйством. Скоро монахи померли от старости, и Николай, собрав их книги и иконы, вернулся домой. Под крыльцом выкопал себе келью и сидел там часто, молясь и обдумывая заветы старых богомольцев. На селе все считали, что его сглазили и что ему лучше было умереть от лихоманки, чем дураком сделаться. Мать его ничего не говорила, только плакала по ночам. Затем началась война.

Вести о скором приближении немцев всколыхнули все село. Народ пошел в эвакуацию, собирали, кто что мог, садились на колхозные телеги и уезжали. Скоро в селе остался один Николай. Он разозлился на врагов: как это посмели они прийти на его Родину? Как позволили им? Он решил выйти к ним навстречу и отвести беду крестным знамением. Он сделал из двух жердин крест и вышел навстречу колонне немецких пехотинцев, которые вслед за танком и тремя мотоциклетами входили в деревню. Он нес крест спокойно и, подойдя к офицеру, который с удивлением глядел на шедшего к нему мужичка, хотел сказать что-то гневное, вразумительное, что отвратит врага топтать чужую землю. Офицер не стал дожидаться его слов, достал пистолет и выстрелил Николаю в грудь.

Тело мужичка бросили в кусты. Но он не был мертв. Пуля засела глубоко в теле, но не убила его. Она поразила нервный центр, так что Николай навсегда перестал чувствовать боль. Ночью он очнулся и поджег избы, в которых спали нем-

цы. Через месяц в этом районе появился партизанский отряд Деда-Непоседа. Так звали теперь Николая и враги, и свои за широкую русскую бороду и непримиримый нрав.

Приходящих в лесной скит мужиков Николай обучал народному военному искусству «буза». Благо учить ему было легко – оно глубоко лежало в сказках, былинах и песнях, да и в самом деревенском быту русского человека. Все корневые движения «бузы», несущие гибель врагу, лежали в крестьянской привычке. Бузовские резали врага тихо, без единого выстрела. В ход шли нож, топор, вилы, коса и любое полено. Они входили в село ночью, как духи леса, и оттого еще более напоминали немцам души русских, которые и мертвые были страшны для врага.

После войны Непоседа хотели наградить, но когда узнали о том, что его партизаны жили в скиту, все покрестились, нашли где-то попа и жили христианской общиной, его по политической статье сослали в Сибирь без права смены места жительства. В селе Посново, куда Николая отправили, он нашел себе хорошую верующую девушку Любашу, сосватал ее, и вроде зажили они хорошо. Родилась дочка, но скоро после родов Любаша померла. Николай растил одну дочку Леночку. Не гулял, почти не выпивал, только на сельских праздниках плясал лихо и неистово. К преклонным годам, когда дочь пошла замуж, Николай ушел в лес, построил себе избу и стал жить один, среди зверей и лесных духов. В селе его считали колдуном, побаивались и уважали.

Скоро о нем и вовсе позабыли бы, если бы не родившийся сынок Елены, которого нарекли в честь деда Николаем. Этот Николай тоже был непоседа, болтун и шалопай. Любил наврать с три короба, за что и бывал бит нещадно. Он нашел своего уже почти девяностолетнего деда в лесу и стал захаживать к нему в гости. А дело было так.

Дед уже много лет жил в лесу. А молодой Колька почти и не знал о его существовании. Мать боялась притеснений за веру и по совету мужа не говорила об отце.

Как-то зимой Колька с дядьями, братьевьями отца, пошел на медвежью охоту. Нашли берлогу, высадили все патроны, но подраненный медведь кинулся на охотников. Все пустились врассыпную, забыв о Кольке. Медведь пошел на парня, которого сковал ужас. Он упал, сознание у него помутилось. Уходя в обморок, он увидел какого-то бородатого человека, который подошел к медведю, взял его за ухо, что-то прошептал, а потом повел за собой в лесную чащу. Колька очнулся в избушке, огляделся и увидел стены, сплошь покрытые иконами. Когда он поправился, бородатый старик отвез его в деревню. Мать Елена признала в старике своего отца Николая Александровича, выхлопотала для него паспорт у новых властей, но в село возвращаться старик отказался, и Колька стал навещать деда в лесу.

Дед, поначалу сторонившийся внука, полюбил его вранье и нахальство и стал потихоньку учить его драться да молиться. То и другое он не отделял. Молитва была для него бит-

вой, а битва – молитвой. Под гармошку или балалайку старик учил внука танцевальным движениям, которые по надобности превращались в страшные боевые удары, захваты и броски. Корневые движения этого боевого искусства были просты: танец переходил то в защиту, то в нападение, главное – научиться ладовать с противником, двигаться с ним в одном темпе.

Поначалу Кольке было интересно, да и защищаться он научился быстро. Но однажды, наблатыкавшись в боевом танце, он чуть не убил соседского сына и с тех пор боялся страшных советов деда. Он реже появлялся в лесном скиту, научился курить и пить самогон, начал ухлестывать за девками. И вот оставался ему год до армии, как Дед-Непосед сам стал появляться на селе. Специально для Кольки. Он нес несусветную чушь про конец времен, про антихриста, про кары Господни и еще про многое, чего Колька понять не мог и не хотел: молитва к нему так и не пристала. Дед постоянно говорил про войну, отлавливал Кольку в сельском клубе и снова и снова заставлял его вспоминать приемы боевого пляса, которые должны были помочь Кольке на войне.

– Нету никакой войны, понимаешь, нету! – кричал раздраженный Колька.

– Сейчас нету, завтра будет, – твердо отвечал дед, – ты, главное, Коленька, учись да молись. Тебе пока самому-то думать рано, ты вот хоть меня слушай.

В военкомате Колька попросился в десантуру. За месяц

до призыва дед захворал. Он перестал есть, только пил крещенскую воду из фляжки. Перед смертью он позвал дочь и Кольку попрощаться.

– Господь судил мне за верность помереть на Пасхальной седмице. Поэтому не отпевайте меня.

– Да как же, папа, как же не отпевать-то? Времена уже не те... – сокрушалась дочь. – В райцентре и церковь открыли, молодой священник туда ездит, святит...

– Я говорю, не отпевать, – твердо сказал дед, – все равно превратите поминки в пьяную тризну. Закопайте, и все.

– Иди ко мне, – позвал он Николая.

Тот подошел.

– Вот что, Коля, ты на войну едешь, не перебивай, перед смертью моей дай слово. И слово твое должно быть крепко. Одного тебя я учил здесь «бузе». Да жаль, не научил с Богом разговаривать. Так вот, когда ты окажешься на войне и увидишь врага, который будет танцевать наш воинский танец, знай, что ты должен его убить. Убить, а иначе наше искусство воинское против нас же и обратится.

– Да меня на Кавказ посылают... – начал было Колька.

– Ты не перебивай, молодой еще и не знаешь, что прошлая кавказская война сто лет шла, и кавказцы наше боевое искусство на себе сто лет знали. Много за это время переняли, многое проведали. Поэтому дай ты мне слово, что если такого врага найдешь, ты его убьешь. Дай слово.

Ну, Колька под слезы материнские и дал слово выживше-

му из ума Деду-Непоседу, который наконец помер и которого похоронили без отпевания.

Перед отправкой Колька напился до беспамятства, плохо помнил, как их везли на барже от родного поселка до райцентра, как потом долго тащились они на автобусе до областного города, и очнулся только в поезде, где царило всеобщее ликование молодых бойцов, отправлявшихся на край света тянуть армейскую лямку.

Край света оказался Чечней, где как раз разгорались военные действия. После учебки на блокпосту Колька чувствовал себя героем фильма Копполы «Апокалипсис сегодня», но только до тех пор, пока снайперской пулей не разнесло череп его другу Лехе. На разминировании он познакомился с ребятами из соседнего батальона. Они рассказали ему, что за два года батальон сменился почти наполовину, много парней улетало домой «грузом двести».

Все больше и больше стал понимать Колька, как много дал ему Непосед, как многому научил. Однажды ему пришлось охранять связанного пленного чечена. Тот неожиданно вырвался и бросился с острой палкой на Кольку, который привычным, автоматическим движением сделал «жаворонка», вырубил нападавшего и связал его. Страх навалился, когда все уже было позади. Колька ухватился за дедовы уроки, как за ниточку, которая связывала его с безмятежной прежней жизнью, с возможностью выжить.

Были в соседнем батальоне и свои легенды. Ребята рас-

сказывали про Заговоренного. Звали его Иван Кутовой. Этот щуплый, тихий парнишка уже успел понюхать настоящего пороху. Его взвод два раза полностью менял свой состав. Первый раз ребята погибли на перевале, а Ивана засыпало землей в окопе, и он откапывался, контуженный, несколько часов. Второй раз в дозоре снайпер уложил троих его товарищей, а он, простреленный, снова остался жив. Через полгода службы солдаты старались быть как можно ближе к Заговоренному: его смерть не трогала. За него, говорят, молились мать и весь приход их маленького дальневосточного рыбацкого поселка. Это непонятное слово «молитва» окружало Заговоренного какой-то тайной. Солдаты верили, что Ивана заговорила его мать, которая могла не отпустить единственного сына в армию, но он исполнял обет покойного отца, офицера-подводника, считавшего воинский долг святым обязательством русского мужчины.

Скоро вера в то, что смерть не властна над Иваном, стала своего рода талисманом всего батальона. Офицеры уже не ругали солдат, которые рыли окопы рядом с окопом Ивана, нарушая все законы дислокации огневых точек.

Служба свела Кольку и Заговоренного на одном блокпосту. Их, уже почти дембелей, послали в село неподалеку от Грозного, где боевые действия не велись. Они должны были проверять проходящий транспорт, разминировать соседний лес. Село было маленькое, спокойное, все друг друга знали.

Колька расспрашивал Ивана про его жизнь, про то, кем он

будет после армии. Иван собирался поступать в семинарию, стать попом. Все это смешило Кольку. Поначалу он подтрунивал над Иваном, два раза они подрались, причем Колька разбил Ивану лицо и при этом шутил, что Заговоренно только чеченские пули боятся. Колькина «буза» казалась выше тайных молитв Кутового. Но Колька вспоминал Непоседа, его твердую веру и осекался, когда на языке вертелось очередное богохульство.

Через месяц службы, когда, казалось, война окончательно отошла от поселка, на блокпостах стали пропадать солдаты. То один, то другой исчезали ребята, никто не просил за них выкупа, нигде не находили трупы. Ребята стали собранней, внимательней.

Осенью в селе играли свадьбу, со всего района съехалась родня жениха, свадьба была небольшая, но шумная. Охранять ее послали Кольку с Иваном.

Здесь-то, на свадьбе, Колька и увидел ВРАГА.

В самом центре села стоял бывший Дом быта, в котором теперь располагались поселковая администрация и отделение милиции. Из бытовых услуг здесь остался только парикмахер. Его звали Махмет. Это был высокий, почти совсем седой человек, молчаливый и, казалось, даже медлительный. Он стриг мужчин и мальчиков, но не отказывался и от дополнительного ветеринарного заработка – помогал резать и разделывать коров.

И вот на свадьбе, когда мужчины танцевали, он вышел в

круг и, поначалу мелко засеменяв ножками, стал вдруг размахивать руками, как большая неуклюжая птица, потом попал в размер барабана и стал совершать те движения, которые были так знакомы с детства Кольке. Вот он сделал «веретено», двух «жаворонков», ухнул ногой «кочергу», развернул руки в «плюхе», а потом, несколько наклонившись, пошел «волчьим шагом».

У Кольки в душе захолонуло. Махмет знал дедовскую «бузу» и знал ее хорошо. Дай такому нож...

Ночью Колька нашел Ивана и рассказал ему про виденное.

– Понимаешь, я деду слово дал, что должен его убить.

– Да ведь ты под трибунал пойдешь...

– Я слово дал. Такие люди свое искусство не просто так получили, это мастерство, как шило в мешке... Оружие, оно войны просит. А может, это он и режет ребят наших?

– Убить живого человека – грех страшный, такого у Бога не отмолишь. А если он действительно ребят наших режет, тогда он враг страны нашей и за это должен ответить, – решил Заговоренный.

– А как же узнать, что он – тот самый враг?

– Нужно устроить ему засаду.

– Да ведь в засаду приманку нужно положить. А мы чем его приманить можем?

– Я буду приманкой, – решил Иван, – меня все считают Заговоренным, вот мы и поглядим, какой я заговоренный.

– Да ведь он тебя убить может...

– Мой Господь, в Которого ты не веруешь, говорит, что без Его ведома ни один волос с нашей головы не упадет. Решено – я буду приманкой, а ты – охотником.

Через неделю они все спланировали. Они уже знали, куда и когда ходит Махмет, что раз в неделю он ездит в соседнюю деревню к родне, ночует там. И как раз в том направлении был блокпост, на котором пропало двое молодых солдат.

Засада была простой. Иван должен был попроситься в машину к Махмету доехать до ближайшего блокпоста. Колька должен был следить за машиной с высокой точки, где дорога делала крутой поворот. Если что-то произойдет, машина все время будет на виду, снайперская винтовка поможет разрешить ситуацию быстро и точно.

Как и договорились, Иван сел в машину к Махмету. А Николай ждал ее в засаде. Он уже слышал звук красного жигуленка Махмета и весь напрягся, боясь, что не увидит на соседнем кресле Ивана, что он (или, может быть, уже его труп) лежит в багажнике, и тогда он всадит весь боекомплект в туговую седую башку Махмета. Но звук двигателя вдруг умолк. Николай дернулся в сторону, туда, откуда только что ехала машина. Он быстро побежал по склону к дороге, уже не думая о возможных растяжках. То ли кровь, то ли красное пятно машины мелькало перед его глазами. Да, вон она стоит в кювете пустая.

Неожиданно – удар в затылок, и взгляд Николая померк. Придя в себя, он увидел Ивана, жестоко связанного алю-

миниевой проволокой, избитого, с затекшим левым глазом. Пошевелил руками, они связаны веревкой за спиной, голова гудит, как колокол, ноги затекли.

Небольшая поляна в лесу, скорее похожая на воронку от фугаса, в яме посередине догорает небольшой костерок. У костра сидит Махмет и протирает новенький «калашников».

– Что, пришел в себя? Хотели меня, как барана, вдвоем порешить? Нет, у Махмета чутье, Махмет знает, когда смерть внимательно смотрит ему в глаза. Это Махмет будет резать вас, как баранов. Резал вас и резать буду. Тихо, спокойно. Аллах мне воздаст за каждого неверного.

Как же хотелось Николаю вырвать руки из веревки и душить Махмета, убивать его, жестоко, по-звериному. Он и вправду зарычал и посмотрел на Ивана, надеясь, что эта же звериная ненависть в глазах друга поможет ему сделать невозможное.

Но Иван лежит смиренно и улыбается, глядя куда-то в небо. Он молится, ему хорошо.

– Махмет не всех пропавших солдат сам резал. Ваши цеплялись за жизнь, они помогали Махмету красть с блокпостов солдат, некоторые, спасая себя, убивали своих же. А другие – глупые, не знают Аллаха, не знают, что самоубийство – грех. Когда нужно было убить своего, чтобы сохранить себе жизнь, пускали пулю себе в лоб.

Николай рвется:

– Ну, убей, гад, я смерти не боюсь. Я вижу, ты «бузу» нашу

знаешь, давай честно – один на один.

– Здесь честно не будет, ты – неверный, а я – мусульманин, ты – молодой, а я – старый. Тебе нечего терять, а я жить хочу. С тобой сражаться не буду. А вот с ним, – показывает на Ивана, – буду.

– Я смерти не боюсь... – слабо отвечает Иван.

– Я знаю, я с тобой не руками, я с тобой там, – Махмет показывает на небо, – сражаться буду. Я буду тебя мучить, пока ты от своего Бога не откажешься.

Махмет берет автомат и прикладом вырубает Николая. Сознание его меркнет.

Когда он приходит в себя, видит, что вся грудь Ивана изрезана ножом, на ней вырезано несколько крестов, лицо разбито, и Махмет, наклонившись над ним, держит в руках кусок отрезанного уха. Иван тяжело дышит, изо рта его течет кровавая слюна. Слышно, как он шепчет разбитым ртом: «Живый в помощи Вышнего в крове Бога небесного водворится, речет Господеви...»

Николаю хочется закричать, но крик его упирается в кляп, которым забит рот. Николай закрывает глаза: «Господи, если Ты есть, лучше бы мне мучиться, чем Ваньке. Он же молится Тебе, почему Ты не слышишь его? Господи, ответь мне, спаси его, Господи... Спаси». От накативших слез он зажмуривается, и вдруг свет заливает его сознание, он открывает глаза и видит, как какой-то парень стоит у дерева неподалеку. Стоит и улыбается. В руке у него венок из одуванчиков,

такой, какие девчонки делали в школе. Он шепчет губами так же, как Иван.

«Это что еще за малахольный, – подумал Николай, – сумасшедший какой-то, из своих? Или из местных, да нет, вроде белобрысый...» Он пытается взглядеться в него, но глаза его застилают слезы, он начинает моргать и, когда снова открывает глаза, видит, что парень пропал.

Николай поднимает глаза на Махмета, тот задумчиво жарит ухо Ивана на костре.

– Ах же ты, гад! – Николай вдруг чувствует, что кожаный ремень, стягивавший его ноги, ослаб. Он наклоняется и обнаруживает, что ремень перерезан. Он бросается на Махмета со связанными руками, валит его в костер, вцепляется в его горло зубами и давит, давит, рвет его горло, чувствуя, как нож Махмета раз за разом входит в его живот.

«Все, конец», – проносится в голове, и Николай вонзается последней хваткой в горло врага, чувствуя, что слабеет, но в то же время последним проблеском сознания замечает, что удары того тоже слабеют и рука останавливается.

«Господи, да спаси же Ты Ваньку!» – мелькает в голове последнее.

Когда он открывает глаза, над ним стоит молодая девушка в белом.

Это больница. Над ним капельница. А в углу стоит тот самый малахольный пацан из леса, держит венок, глупо улыбается, и легкий летний ветерок, залетающий в палату из от-

крытого окна, тербит перья на его больших белых крыльях.

Фотография

Вы растворяетесь, словно сахар в теплой воде... Словно сахар в теплой воде. Да, вам сравнительно неплохо. Даже, скорее, хорошо. Вы расслабились и сквозь дрему рассматриваете милую фотку. Что это на ней, собственно? Парень с девушкой. Улыбаются. Представьте: молодость, глупость, половая зрелость, внезапно осознавшая себя, шило взрослости в мешке припухшего детства. Вовка Джаггер (Медведев) и его жена Женька Бойкова (Медведева). А ведь эта фотка имеет свою историю обретения новых миров и растерянности перед ними.

Есть такой хороший человек – Марат Губайдуллин, мало сказать, татарин, так еще и щурится. Ну и вот, в желании открыть эти тщательно скрываемые жемчужины глаз, из чистого любопытства, я всячески настаивал на силовых методах вскрытия раковин его век: мол, чего ты, козел, щуришься, слепой, что ли? Ну и доконал его выписать себе очки. Пошли в «Оптику» на углу улиц Республики и Мориса Тореза, взяли. Аккуратненькие такие, в тусклой металлической оправе. Идем себе по Республике мимо кинотеатра «Юбилейный», мимо газончиков, кустиков подстриженных. Типа весна. А я всячески подзуживаю, ну, мол, надевай, очкастый. Он и надел. И как, простите меня, охренел! Глядит во все стороны, глаза карие тарашит и говорит:

– Смотри, трава-то, она из отдельных листиков состоит!

Сказать, что я удивился, – значит ничего не сказать.

– А какой она тебе раньше представлялась?

– Ну, как мох, такая вся однородная...

Вот, думаю, так ведь это он раньше вообще очки не носил. Стеснялся запятнать себя главным в нашей детской жестокости знаком неполноценности. Не носил и ничего не видел, точнее, видел, но в прекрасно-романтическом, размытом облике, как сквозь матовый светофильтр, устраняющий все недостатки. Человек жил в мире диаметром в пятнадцать метров, за которым все превращалось в яркий наркотический бред художника-абстракциониста, давно потерявшего надежду продать плоды своего таланта. В общем, теперь с очками ему было неплохо, в любом случае – интересно.

Между тем обретение мира в подробностях влекло за собой не только радости, но и горести и потерю иллюзий. Безудержная эйфория Марата быстро сменилась мрачным разочарованием и унынием. Особенно из-за девушек. Юность нередко выдают угри и прыщи. Девушки просто снесли ему голову. Вместо призрачных нимфообразных порхающих милых созданий – родственниц тропических бабочек – он увидел разнузданных сибирских девок, дефекты кожи, дешевую помаду, тушь, пудру и прочее. Марат был унижен ничтожностью мира, он чувствовал себя уязвленным.

Открытие мира в восемнадцать лет настолько потрясло Маратку, что он понял: мир достоин, чтобы быть запечат-

ленным. И решил стать фотографом. Логично. Он завел себе «Зенит», зарядил пленку и начал всех фотографировать, хотя ему сильно мешали очки. Зашел как-то и к нам в общагу. Был май 1988-го, и мы писали так называемый майский альбом: играя на гитарах «Урал», стучали на коробках, которые заменяли нам барабаны, и орали дикие песни дикими голосами. Среди нас оказались и Вова Джаггер (Медведев Владимир Борисович), прозванный так из-за поразительно-го сходства с популярным исполнителем, и его жена Женька Бойко. Они были так милы, юны, блондинисты и счастливы, что мне немедленно зажглось их запечатлеть. Схватил Мараткин «Зенит» – выдержка, диафрагма, снято. И забыл об этом.

Вам весело, вы улыбаетесь и не стесняетесь себе в этом признаться, тогда как из белого, сияющего студне-киселеобразного пространства к вам приближается сумрачная фигура Маратки, рассматривающего только что проявленную пленку. Первая пленка представляла собой ровную серую ленту с практически незаметным прозрачным рисунком, но в середине ленты красовался ровный черно-белый квадратик – единственный четкий кадр, замершая фототень юности Вовы и Жени, нечаянно забредшая на негативы того, что снять невозможно, на негативы удивления миром.

Марат стал хорошим, профессиональным фотографом. У меня нет никаких сомнений в закономерности патологии зрения у фотографов. Они все очкастые. Или одноглазые.

Или дальтоники. Вот и восполняют «третьим глазом». Фотоаппарат – это отдельная история. Я же вот какой опыт получил с Мараткиного открытия. Несколько дней подряд, для эксперимента, я носил специальные очки, совершенно черные и плотно прилегающие к лицу. В них были сделаны узкие прорезы, сквозь которые я видел лишь ничтожную часть обычного мира, да и то подвергнутую сильнейшей дифракции с интерференцией. Проходил я в них несколько дней, снимая лишь при наступлении темноты. Когда я наконец снял очки, то испытал сладостное и удивительное состояние. Мир, который меня привычно окружал, вдруг оказался лишь чередой ширм. Подул ветер, упали ширмы, и открылся огромный мир, незнакомый, приятно пугающий и манящий. Эйфория, сатори³. Чувствуешь? Нет? Тогда еще пример.

Похожее ощущение я испытал, когда мне было семь лет и меня с десятилетней сестрой оставили дома на вечер одних. История эта на самом деле про удивительное изобретение человечества – дверную цепочку. Мы недавно въехали в бывшую генеральскую квартиру, и нашу семью, привыкшую к бытовому социализму, изумляло это устройство на входной двери. И вот, уходя в гости, родители попросили нас закрыть дверь изнутри на цепочку. Мы закрылись, мы были послушными. Очень поздно раздался звонок. Мы бежим к двери:

– Кто там? В ответ пьяный голос:

³ Сатори (яп.) – состояние просветления.

– Открывайте, позовите родителей.

Я говорю:

– А родителей дома нет.

Он говорит:

– Открывайте дверь.

Строго так, по-взрослому. И я открыл дверь. Но открылась она ровно на цепочку. На площадке – здоровый пьяный грязный мужик с огромным топором.

– Открывай, – говорит.

Сестра звонко, по-пионерски, говорит:

– Уходите, родителей нет, вы пьяный, мы вам не откроем, уходите!

А он как заорет:

– Открыва-а-айте!

Топором замахивается и хватъ по цепочке, чтобы разрубить. Цепочку-то не разрубил, а вот дверь, когда он потянул топор назад, захлопнулась. Мужик за дверью неистовствовал. Он рубил нашу крепкую дубовую дверь, которую нипочем не выбить, потому что она, единственная в подъезде, открывалась наружу. Я же, испугавшийся одного вида его, стоял одеревенелый от ужаса. Я был не способен даже пошевелить пальцем от сковавшего меня страха. Так в природе всякое существо, как потенциальная жертва, снабжено психологическим механизмом, защищающим от боли, когда ее ловят и пожирают. От нее откусывают, а ей не больно, она в защитном шоке.

От меня тогда не только откусить, меня распилить можно было. Но вот дверь захлопнулась, и только что столь близкая опасность стала недостижимой. Сестру сразу как ветром сдуло, она убежала и спряталась в другую комнату. Мысль, сначала смутная, как предчувствие, затем тонкая, как нить, затем все более стучащая и оживляющая мертвое от страха тело мальчика... Вдруг я ощутил, что ЗА МНОЙ есть ПРОСТРАНСТВА, ИХ МНОГО и в них безопаснее, и я медленно, словно бы плываю, начал отворачиваться от двери, отдающей ударами и бранью, потек, мелко и медленно семеня ножками, в детскую. Медленно, трепетно-сладко залез под свою кровать и свернулся в калачик. Спрятался, нет меня. Наплевать на вас, гады. Спрятался. Тихо, тепло, уютно, хорошо, и крепкий мышечный корсет, сдавливающий тело, начинает плавиться, течь, он растворяется, как сахар в воде. Как кусочек сахара в стакане горячего чая. Попейте чайку, рассмотрите фотографию угодной Богу цепочки. У Бога много пространств и обителей, и обретаются они разными способами. Один надевает очки, другой залезает под кровать.

Воры

Меня крестили в 1971 году в храме Семи отроков Эфесских города Тобольска. Похоже, в России нет больше храмов, посвященных этим удивительным уснувшим отрокам. Крестить меня привела бабушка. Отец, партийный человек, был против этого. Крестили 21 августа, как раз в день моего святого – святителя Мирона, епископа Критского. Батюшка так и сказал:

– Что это за имя дурацкое – Мирослав? Таких святых нет и не может быть. Будет он называться Мироном. Тем более что сегодня как раз именины всех Миронов.

Уже на крещении я проявил свой ужасный, как говорит мой духовник, эксцентрический характер: все пошли по кругу, а я в другую сторону. За это батюшка не повел меня в алтарь посвящать Богу, всех мальчиков взял, а меня – нет. Так я и остался непосвященным Богу. Наверное, поэтому я встретился с живым, воскресшим Христом только в юности.

О святителе Мироне мы знаем немного, всего пару анекдотов из времен гонений римского императора Деция⁴.

Святому Мирону досталась каменистая земля острова Крит, которую он возделывал много лет. В конце концов он таки превратил ее в цветущий сад, приглашая трудиться и

⁴ Деций Траян (лат. Decius Gaius Messius Quintus Traianus; 201–251) – римский император.

питаться от плодов ее всех бедных христиан острова. Он был уже пожилым человеком, когда произошло оставшееся в истории событие. К нему на гумно пролезли воры. Воры – люди лихие, но слабые, потому что не занимаются ежедневным трудом. Мирон застал их на гумне, когда они тщетно пытались взвалить мешки с зерном себе на плечи. По тем временам закон был прост: застал вора на месте преступления – смерть ему. Достаточно было крикнуть работникам, чтоб они сбежались. Но вместо этого Мирон обратился к ворам:

– Могут ли я помочь вам?

Воры огляделись, они никак не ожидали увидеть рядом кого-либо. Старичок показался им наивным, и они согласились на то, чтобы он своими сильными и натруженными руками набросил на их плечи по мешку с зерном, да еще и взялся вывести из поместья. Они идут и вдруг слышат, как с Мирonom здороваются работники. Воры начинают понимать, что старичок этот – хозяин усадьбы. И ему достаточно крикнуть работникам, вооруженным мотыгами, косами и топорами, чтобы те схватили и убили их. И вот они идут своим крестным путем, между окриком хозяина с мгновенной смертью и тем, что из-под мешка с зерном просто так не выскочишь и не побежишь. Обливаясь смертным потом, они прошли с ним до ворот. Там он выпустил их с мешками и сказал:

– Я вижу, вы – люди лихие, воры, но сегодня вы почувствовали вкус смерти. Идите и больше не воруйте.

Говорят, что вкус смерти отбил у них охоту воровать. А святой Мирон стал епископом острова Крит и ныне глубоко почитаем не только греками, но и всеми православными.

Один мой знакомый монах после пострижения долго не мог отвыкнуть от мира и ноутбука. Все ночи напролет он просиживал в чатах и живом журнале. Чувствуя свою зависимость, он попросился из солидного городского монастыря в небольшой деревенский скит, который промышлял ловлей рыбы на озере и имел свою пасеку. Но и здесь Интернет вползал в ноутбук через его мобильник. Видя, как он, не выспавшийся после очередной интернет-ночи, сонно перебирает сети, старый монах пожалел его и сказал:

– Зря ты смотришь в свой компьютер по ночам. Он сжигает твои глаза. Смотри вон на ту яркую звезду, и она восстановит тебе и глаза, и ум.

Инок взглянул в молодое утреннее небо и увидел звезду. Так странно было видеть ее не ночью.

На следующий вечер он выбрался на поляну и стал наблюдать за звездой. Она, единственная на небосклоне, сияла ярко и, казалось, не двигалась. Инок смотрел на звезду, вспоминал, когда и как все началось. Свою первую исповедь и первое причастие, первые молитвы и первые радости от церковной жизни. В этот вечер он только отправлял электронную почту, а на следующий день забыл уже и это сделать. Сидя на крыше домика, он смотрел на свою звезду. В него вливались красота и тишина ночная, он тихонько молился,

и миром наполнялось его сердце.

Через полгода в его домик проник вор. Это был наркоман из соседнего поселка, который подумал, что у монахов должно быть много денег и золотой утвари. Он долго рылся в домике молодого инокa, но так ничего и не нашел. Когда монах застал его, он злобно зарычал и хотел было кинуться на него. Но монах сразу понял, что к чему, и, порывшись у порога, протянул оторопевшему вору свой ноутбук:

– Вот, возьми, здесь больше ничего нет.

Когда вор ушел, монах залез на крышу и посмотрел на небо. И вздохнул:

– Я отдал ему то, что мне самому не нужно. Вот если бы я смог подарить ему мою звезду...

Когда я работал сторожем, ко мне на объект пробрался вор. Он хотел своровать колеса от легковых машин. Я подобрался к нему сзади и приставил берданку прямо к голове. Он поднял руки и повлекся за мной в сторожку. По дороге он бурчал, что только освободился из тюрьмы, что он голоден и у него нет денег. Я накормил его тушеной картошкой, в дорогу налил полстакана водки, дал хлеба и сала, а потом отпустил. Он взял еду, посмотрел на меня с обидой и сказал:

– Ты меня по всем понятиям обидеть хочешь? Ты меня поймал, ты меня должен ментам сдать. А ты хлеба дал, выпить налил. Презираешь меня? Считаешь ничтожеством?

Я вытолкал его за ворота, а вместе с ним – те старые времена, когда от воровства вразумлялись либо воры, либо

ограбленные. Теперь между ними никакой разницы нет.

Деньги

Вокруг только и разговоров, что про деньги. А что про них говорить, если они воняют. Говорят, что деньги не пахнут, да как же не пахнут, если они смердят. Мама мне сказала в детстве:

– Не бери монеты в рот, мало ли кто их брал руками.

Создалось четкое ощущение нечистоты.

Вот и сегодня по служебным обязанностям мне нужно было пересчитывать купюры. От них несло каким-то протухлым человеческим жиром и запахом старого дома с недавно умершей старушкой. Я питаю презрение к этим бумажкам, у меня аллергия на них, даже лучше бы сказать – идиосинкразия.

В детстве мама играла с нами в лото на копеечки. Копеечки, конечно, нужно было потом возвращать маме. Мы жили с Димой Крускопом в одном дворе и тоже играли в лото, и, по-моему, у нас была еще игрушечная рулетка. А деньги мы рисовали сами. Естественно, доллары. Потому что даже Бодрийяр⁵ заметил, что икона современного мира – это кейс, наполненный баксами. Доллары рисовал я, и Дима тоже рисовал. Изображали знак доллара, более известный как знак медного змия Моисея в пустыне, писали one dollar и

⁵ *Бодрийяр Жан* (Baudrillard Jean; 1929–2007) – французский социолог, культуролог и философ-постмодернист.

что-то еще. Доллары были разрисованы с двух сторон. Мы были серьезные пацаны и поэтому делали крупные ставки. И чем крупнее мы делали ставки, тем больше приходилось рисовать баксов. У нас их скопилось очень много. Приходилось их считать, потому что мама говорила, что деньги любят счет и размножаются только у тех, кто их внимательно считает. Так, в магазине она приучала мысленно высчитывать сдачу до копейки и быть точным в своих отчетах после похода в магазин. Мама готовила нас к внимательной экономии и вдумчивой бедности.

Однажды я открыл свой стол и обнаружил кучу нарисованных долларов, увязанных в тщательно посчитанные пачки. Я посмотрел на них, и мне показалось, что они воняют. Такими глупыми показались мне эти бумажки. И с тех пор я не могу отделаться от омерзения к банкнотам, пусть даже они совершенно новые.

Тем летом меня отправили в летний лагерь в Грузию. Мама дала мне десять рублей, чтобы я мог купить себе билеты на возможные экскурсии, мороженое или газировку. Но она всегда учила, что приличный человек из поездки должен привезти всем родным сувениры, чтобы им было приятно. Так же дело обстояло с шоколадками и другими подарками взрослых. Шоколадку следовало поделить так, чтобы досталось по кусочку моим сестрам, маме, бабушке и папе, а также тем детям, которые в этот момент находились в гостях. Чаще всего мне самому ничего не доставалось. Поэтому в первую

очередь я купил в Грузии маме бусы, бабушке полукруглый гребень для волос, сестрам медальоны с изображением Богородицы (они мне очень понравились, у нас таких не было), а папе, раз он был журналистом, – ручку в виде грузинского кинжала с ножнами. Себе я позволил купить несколько стаканов газированной воды «Тархун» – у нас не водилось зеленой газировки вообще, потому что тогда был примерно 1978 год.

От всех покупок у меня осталось три рубля семьдесят четыре копейки. Сдачу было принято класть на холодильник в прихожей. Я еще раз пересчитал деньги и положил их, как учили: сначала зеленую трешку, потом монетки, сначала широкие, а потом узкие, ровной горочкой. Под трешкой лежала бумажка с точными расчетами о сдаче.

Когда я приехал домой, вся семья, кроме папы, была на даче. Папа мой всегда отличался простотой. Он посмотрел на свой подарок и сказал, что он ему не пригодится. Заметив, что я погрузился, он уточнил, что, кажется, мне своим глупым подарком удалось совместить блатной жаргон и эпистолярный жанр, а для усиления эффекта рассказал о книге поэта, бывшего беспризорника, Павла Железнова⁶ «От пера к перу».

Далее произошло непредвиденное. Он подошел к холодильнику и увидел сдачу.

⁶ Железнов Павел Иванович (1907–1987) – поэт, переводчик, бывший беспризорник, воспитанник трудовой коммуны.

– Это что?

– Деньги, сдача. Мне мама десять рублей давала на пионерский лагерь.

– И что, ты привез сдачу?

– Да, все ровно. Три рубля семьдесят четыре копейки.

Он посмотрел на меня и вдруг горько заплакал:

– В кого вы превратились? Кто вырастет из вас? Вы нищета! Жалкая нищета! Босота! Как мы могли довести вас до этого? Почему, почему ты не истратил все деньги на себя? Почему вы не умеете просто жить? Кто из вас вырастет?..

Я не понимал его. Я вроде бы все сделал правильно. Чем он был недоволен? Что еще я должен был сделать?

Мама, вернувшись, отругала папу за то, что он отверг мой подарок, поблагодарила за бусы и отпустила гулять. Я вышел во двор. Было лето, я ходил и думал, чем я так расстроил папу. Должно быть, он тоже учуял, как смердят деньги.

Сребролюбие

Когда одного святого спросили про бесноватых, он ответил, что не о бесновании надо говорить, а о сребролюбии, потому что сребролюбие хуже беснования. Бесноватых не часто встретишь, а сребролюбцев полным-полно. К примеру, вот я ужасный сребролюбец. Поэтому в начале девяностых подал документы на вакантную должность заместителя директора одного крупного банка. Полгода меня внимательно рассматривали из головного банка в Москве. А я в это время начал преподавать в Духовном училище при Свято-Троицком монастыре. И в один прекрасный день наместник монастыря игумен Тихон предложил мне начать издавать православную епархиальную газету. Он завел меня в пустой кабинет, в котором не было даже стула, и сказал:

– Вот, у тебя будет редакция.

– Так здесь же ничего нет.

– А ты представь, что все скоро будет.

И он сделал широкий жест, подобно тому, как жених невесте очерчивает туманное, но светлое будущее. На сердце у меня потеплело, чем-то вроде этого мне и хотелось заниматься. И вот я иду домой и несу в себе светлую мысль, что буду издавать «Сибирскую православную газету». Подхожу к дому, а меня ждет машина с роскошной дамой, и дама говорит мне:

– Вы приняты на работу.

– Куда?

– В банк. Вы же подавали заявку, вас отобрали из ста пятидесяти претендентов. У вас теперь есть свой кабинет и секретарша, завтра можете приступать к работе.

Я говорю:

– Вы меня, пожалуйста, извините, но вы на полчаса опоздали, я устроился редактором в православную газету.

Роскошная женщина на меня посмотрела как-то странно и говорит:

– Как хорошо, что мы вовремя это узнали. Вы же совершенно сумасшедший человек! Такой шанс бывает в жизни один раз, здесь и зарплата, и карьера. А что выбрали вы? Нет, вы положительно сумасшедший!

Мотая головой и фыркая, роскошная женщина села в машину и уехала. Сумасшедшим сочли меня и все родные, но мне было ясно, что выбор лежал между монастырем и банком, то есть между Богом и мамонной. Поэтому, собственно, и выбора-то для меня, идиота, не было.

Начались веселенькие дни. Я, конечно, и не представлял, что такое православная журналистика. Мне приходилось закупать бумагу, договариваться о верстке, фотографировать, писать, бегать по типографиям, забирать тираж, распространять его по нашей необъятной епархии – и все это в одиночку. Ну да об этом можно написать роман, а я не люблю писать романы. Особенно приходилось тяжело верстальщикам.

Из-за моей газеты у них ломались компьютеры, возникала куча проблем, и, в конце концов, они мне отказали. К этому времени у меня чудом появился компьютер, я научился верстать и следующий номер сверстал сам. Я платил верстальщикам полторы тысячи рублей монастырских денег. А тут сделал сам. И спрашиваю жену: что делать с деньгами? Она, конечно, считает, что это деньги – уже не монастыря и даже не мои, а ее деньги. Поэтому говорит:

– Ты сделал работу, деньги твои, тут и судить нечего.

У баб все просто. Ладно. А мне как раз надо было ехать в Тобольск по делам. И вот зимним вечером я приехал туда и пошел, конечно, приложиться к мощам святителя Иоанна Тобольского⁷, благословиться у него. Иду, и душа моя в сомнениях – в кармане рубашки лежат деньги, которые я взял у отца игумена. Мои они или я их уворовал? А если уворовал, как буду подходить к святыне? А с другой стороны, работу-то я сделал. И все же... Вот в таких переживаниях подхожу я к Покровскому собору, и прямо из двери, как чертик из коробки, на меня выпрыгивает архимандрит Зосима и ни здрасте, ни до свиданья, не здороваясь, не благословляясь, глядя мне прямо в глаза, начинает быстро-быстро говорить:

– Денег мне дай, денег мне дай, денег мне дай, денег мне

⁷ *Иоанн Тобольский* (в миру Иоанн Максимович Максимович; 1651–1715) – последний русский святой, канонизированный до революции. Митрополит Тобольский и всея Сибири. Основатель первой семинарии в России. Известен своей миссионерской и богословской деятельностью. Автор многочисленных поэтических сочинений.

дай...

У меня из глаз от переживаний брызнули слезы. Я достал из кармана куртки какие-то свои деньги и протянул ему.

Он продолжал, как юродивый, насакивать на меня:

– Да нет, ты мне деньги, деньги дай!

– На, бери. На что они тебе?

Тут он ловко выхватил десятирублевку из моих денег, наклонился ко мне к уху и прошептал:

– Вот конверты да марочки куплю, буду письма писать.

И побежал от меня куда-то в морозную ночь. А я зарыдал от собственной низости. На следующий день, вернувшись в монастырь, я зашел к отцу наместнику и рассказал ему, как отец Зосима отучил меня воровать, и отдал деньги. Отец Тихон нахмурился, но сказал, что я правильно вернул деньги:

– Все-таки они монастырские.

К следующей моей мизерной получке редактора газеты было начислено на полторы тысячи больше. Бесноватых не часто встретишь, а сребролюбцев полным-полно.

Холуй

Он снова выл на улице. Я выскользнул из постели, захватив из-под подушки жены пистолет. Он был тяжелый и струился, переливался ее теплом. Включил в коридоре свет, снял пистолет с предохранителя, в сенях надел резиновые тапки и передернул затвор. Пистолет, жестко клацнув, загнал патрон в патронник. Я вышел на улицу. Ярко светила луна, была середина ноября, странная, бесснежная. Он, как всегда, стоял на крыше моего домика, весь переливался темным клокочущим дымом, таким плотным, какой бывает, когда жгут автомобильные покрышки. Он выл гортанно, голос его клокотал, и в вое слышалась насмешка. Я выстрелил. Он упал, жалобно звякнули стекла, метнулась из-под забора кошка, завыли соседские собаки. Я не стал смотреть на часы, и так знал, что сейчас 4.14. Это всегда случается в 4.14.

Все началось, когда мне было восемь лет и мы переехали на улицу Ленина, в большую генеральскую квартиру. Мебели не было, и мы играли с сестрами в футбол. Интеллигентные соседи, вместо того чтобы знакомиться, приходили жаловаться на неподобающий шум. С новыми дворовыми друзьями мы пошли за цветными проволочками на строящуюся рядом телефонную станцию. Из проволочек мы плели смешных человечков. Ребята возились с проводками, а я стоял и зачерпывал сухой и холодный песок своей сандалякой, а по-

том так наклонял ногу, что песок лился из сандаляки тоненькой струей. Вот тогда первый раз остановилось время. Пожалуй, впервые в жизни я почувствовал удивительный мир, абсолютную тишину, полное счастье и вдруг сделался частью этой тишины, этого ясного майского дня. Я всегда помню этот момент. Было такое ощущение, что снова родился. Вдруг увиделись краски мира, стало понятно все на свете. Я был захвачен красотой, совершенно в ней растворился, меня перестало быть.

С того момента мне вдруг стало все интересно, я начал читать запоем. Читать меня научили мои жестокие старшие сестры, когда мне было четыре года. Они играли со мной в школу, усаживали за стол и писали на доске мелом буквы. Мне это не нравилось, я норовил убежать на улицу, но у средней сестры Светки была линейка, и она пребольно била меня по рукам. Этому ее научила учительница Ксения Андреевна Сметанникова, которая потом, в первом классе, тоже била меня по рукам линейкой. Я жаловался на сестер маме, но ей нравилось, что я научился читать таким маленьким.

Школу я люто возненавидел, все мне казалось там глупым, ничто не захватывало и не увлекало. Я уже умел читать и писать, а все сидели и притворялись, как маленькие. После того счастливого дня во дворе телефонной станции учиться в школе мне стало совсем неважно, учителя казались злыми, а предметы – неинтересными.

Как много вреда моей стране приносят плохие учителя, которые говорят, что «жи-ши» нужно писать через «и», а на вопрос «почему?» не могут ответить, потому что плохо учились в институте. И не помнят особенности артикуляции: между шипящим и почти горловым гласным стоит «йот», который мы не можем не произнести.

Положение дел спасал папа. Он никогда не знал, в каком классе я учусь. Когда к нам приходили гости и папа был в приподнятом настроении, он встречал меня в коридоре и спрашивал:

– Привет, балда, как дела?

– Хорошо.

– Ты в каком классе-то учишься?

– В пятом.

– Ну, я надеюсь, что, как и все Бакулины, ты учишься на одни пятерки?

– Нет, я ударник.

– Не переживай и не обращай внимания на учительок ваших, все они дуры.

И он, хлопая меня по плечу, отпускал. О, какую услугу он мне оказал! Он спас меня от того, чтобы воспринимать весь бред, который несли в школе, серьезно. Мир разделился для меня на «необходимое» и «интересное».

И вот в пятом классе у нас появилась учительница словесности Екатерина Гавриловна. Маленького роста, очкастая, с большим носом, она сразу получила прозвище Противогаз.

Она очень интересно вела уроки, впервые я слушал учителя внимательно. Но на первом же родительском собрании она сказала моей маме, что я «подобострастно гляжу ей в рот». Я был оскорблен.

Вот тогда я почувствовал в себе это неприятное холуйское чувство – что же, если мне впервые интересно, то, значит, сразу «подобострастно»?

И с этого дня я все чаще и чаще стал замечать, теперь уже как бы со стороны, что когда я бываю всецело, глубоко захвачен чем-то, погружен полностью, как тогда на телефонной станции, то при этом глупо выгляжу.

Я стал ловить себя на том, что совершенно по-холуйски отношусь к тем, чей ум поражает меня своей глубиной. Я рад был всем служить, потому что просьба, ко мне обращенная, вдруг поглощала меня своей важностью, и я забывал про собственные дела.

Став старше, в храме я встретил живого Христа и так замер перед Его иконой, что меня еле выпроводили домой. Холуйство мое, подобострастие приобрело фантастический размах и стало пугать меня. Но однажды я прочитал мемуары художницы Глебовой⁸ о том, как ее привели в мастерскую Павла Филонова. За мольбертами сидели сорок учеников, и все маленькими кисточками копировали небольшую работу мастера. Вначале это так возмутило Глебову, что она немед-

⁸ Глебова Татьяна Николаевна (1900–1985) – русский художник, живописец, график.

ля хотела уйти, но сказала себе: «Если есть во мне что-то хорошее, оно разовьется, а если нет ничего, так и не жаль». То есть она добровольно осталась, осмысленно подчинилась Филонову, и теперь мы не помним никого из тех сорока учеников, но рядом с именем Филонова стоит имя его самой одаренной ученицы – Глебовой.

Я знаю, на кого похож в русской литературе – на Молчалина из пьесы Грибоедова «Горе от ума». Обычно в школе его преподают как самого раболепного и глупого персонажа. Напыщенный западник Чацкий презрительно бросает: «И царствуют Молчалины на свете», – что, мол, хуже некуда, чем жить в России, «стране рабов, стране господ, народа, преданного голубым мундирам». Мне же, по моему холуйству, Молчалин кажется русским Гамлетом. Его, деревенского паренька, взяли в дом к барину, в столицу, где в него втюрилась начитавшаяся любовных французских романов Софья. А он любит горничную Лизаньку, но должен терпеть надоедливые ухаживания барыни, терпеть и молчать. В этом раболепном молчании есть что-то от традиционного долготерпения моего народа. Есть в нем умиленное упивание своим эмбриональным духовным развитием, но есть и молчаливое созерцание, есть любование как душевная захваченность.

Эта раболепная захваченность, о которой теперь я пишу, по прошествии целой жизни мне кажется лучше, чем горделивое самолюбование. Вот я спросил недавно своего друга Петра Ивановича, курил ли он анашу, а он мне сказал, что ни

за что не стал бы курить, потому что ему, принцу Датскому, не пристало унижаться до таких глупостей. И я с удивлением подумал, что вот это «не пристало мне унижаться» мне не свойственно по жизни. Я всегда был плебеем и ничтожеством, не способным на что-то самостоятельное. Я, как собака, виляю хвостом, как только чувствую присутствие Истины, преданно смотрю ей в глаза и желаю услужить. Я – лаковый пробор официанта, лоснящийся любезностью и холуйством.

Нет! Я не Гамлет и не мог им стать.
Я из друзей и слуг его, я тот,
Кто репликой интригу подтолкнет,
Подаст совет, повсюду тут как тут,
Услужливый, почтительный придворный,
Благонамеренный, витиеватый,
Напыщенный, немного туповатый,
По временам, пожалуй, смехотворный,
По временам, пожалуй, шут.

Захваченность мыслью, красотой, когда я полностью растворялся в чем-то или ком-то, давала мне неизмеримо много – я был счастлив. Само русское слово «счастье» подразумевает, что ты – часть чего-то большего, чем ты сам: часть Церкви, семьи, мысли, которая мыслится через тебя сейчас, часть красоты, которую создал Господь. И ты счастлив, что тебя, ничтожество, вообще допустили жить и не выгоняют

из общества взащей, а даже терпят.

Я стоял во дворе ночью, было 4 часа 15 минут. Я взял лестницу и залез на крышу. Клубящийся дымом человек, распластаный, лежал навзничь. Я выстрелил в него еще раз. Потом подошел к нему – моей гордыне, – сел рядом и попросил:

– Не ори, а?

Встреча

Раньше я совсем не верил этой поповской пропаганде. Со-
всем. Как? А вот так... Не верил. Ну, то есть как совсем не
верил?

Вот бабушке моей, которая нас всех у Бога отмолила, го-
ворил с вызовом и пониманием: «Бабушка, космонавты ле-
тали, не видели». Она, бабушка, улыбалась мне и говорила:
«Ты не веришь – не верь, только молись». Вот так: «Не верь,
только молись». И сама все время молилась. А я не молил-
ся. Я только загадывал желания у елки в Новый год, и они
сбывались. Абсолютно все. Через некоторое время мне уже
и желать-то нечего было. Нет, ну не то что клюшку, как у
канадского профессионала Бобби Хала, или еще что-то, что
радует жизнь, а как-то по-тупому исполнялось все, что бы
ни попросил.

Дед мой веру свою особо не выставлял, он просто ушел
весь в нее. Никому ничего не говорил, но и богохульствовать
не позволял. Возьмет огромную такую книгу на непонятном
языке, откроет ее и читает. Почитает да вздохнет. Покачает
головой и снова своим кривым, черным от работы пальцем
по строкам водит и губами шевелит.

Я его спрашиваю:

– Дедушка, что это за книга?

– В этой книге про всех людей и про все дела человеческие

написано.

– А почему на непонятном языке?

– А чтобы дураки не поняли.

Он таким молчаливым с войны пришел. И книгу оттуда принес. На фронт он уходил малограмотным парнем из глухой деревни. Про родителей помнил только, что они были странноприимцами, детей было десятеро, и хлеб на всю семью пекли на целую неделю, но одну булку всегда откладывали для странников и калик перехожих. И когда его в молотилку подо Ржевом закинуло, там он и прошел все свои университеты. Встретился с лейтенантом-ветеринаром из Белоруссии. Нашел его в лесу, тот молча жарил на костре свой партийный билет. Оказалось, что во время боя этого лейтенанта засыпало в окопе, а когда он отрылся, то увидел, что бой уже закончился и из его взвода он один живой остался. И вот он смотрит: кто-то по полю ходит. А это Ангел Божий мертвых русских солдат благословляет. Лейтенант этот подарил моему деду беззаботную христианскую улыбку и молитву «Живый в помощи Вышнего».

Дед из нее тогда только начало и запомнил. Но через полгода он сам лежал на земле и старался быть как можно более плоским. Потому что с ним немецкий снайпер игрался. Обстреливает его, как хочет. А он лежит и видит, как муравьи тащат соломинку. Война, людей убивают, такая трагедия, а они тащат свою соломинку, и им хоть бы хны. Глупая, ничтожная природа, совершенно равнодушная к человеку. И

вот тут ему пулей каблук на сапоге оторвало. И он неожиданно для себя вдруг крикнул:

– Господи, если я живым останусь, я курить брошу!

Крикнул, и ему смешно стало. Перевернулся он на спину, а над ним высокое летнее небо, и кузнечики стрекочут. Он закрыл глаза и заснул. Тем и спасся, что снайпер его за мертвого принял. Курить пришлось бросать. Но с тех пор он стал как-то молчалив и всегда абсолютно счастливо улыбался. Пойдем в лес по грибы, я ему гриб несу, червяка показываю, он мне говорит:

– Ты не тех червей бойся, что в грибах сидят, а тех червей, что людей едят.

И ко всему у него была присказка. Нальет, к примеру, себе водки, смотрит на рюмку и разговаривает с ней: «Рюмочка Христова, откуда? – Из Ростова! – Пачпорт есть? – Нема! – А вот тебе тюрьма!»

Я ему тоже про космонавтов сказал. На что он заметил:

– Тебе, сопля, мнения своего еще иметь не положено. Мать с отцом слушай, стариков чти и ко всем относись с почтением, тогда может из тебя, ботало, хотя бы гроб раскрашенный получится.

Я обиделся и спросил, чего он гробом обзывается.

– А это, – говорит дед, – такие люди есть, снаружи пиджачок да галстучек, морда бритая, а в глаза его рыбы поглядишь – внутри-то мертвец сидит, человек уж помер давно, по привычке просто ходит и двигается.

И улыбнулся. Я эту улыбку его никак не могу забыть.

Тут ехал в поезде со стариком. Он сидел много, потом жил на поселении, собрался прощаться со всеми родными перед смертью. И вот, точно как дед мой, сидит у окна, молчит и улыбается. Поезд пошел, он мне говорит: «Как мне нравится в поезде ехать! Колесики стучат: тук-тук, тук-тук. За окном красивые пейзажи показывают. Хорошо!» Я чувствую, что у меня по лицу начинает дурацкая улыбка растекаться. А он не унимается. Принесли чай. Он опять: «А как мне нравится в поезде чай пить! Сахарок в таких замечательных упаковках, продолговатеньких, хрустящих». Я думаю: «Погоди, вот тебе сейчас простыни сырые принесут, как ты заговоришь?» Принесли простыни. Он их расстилат: «А как мне нравится, что простыни такие слегка влажные, как хорошо». Когда мы с ним в Москве на перрон вышли, я готов был каждую травинку, каждого московского бомжика обнять. Такое счастье было в этом человеке. Хоть и настрадался. По нему видно было.

И дед мой так же улыбался. Я теперь христиан по этой улыбке всегда вижу. Дед улыбается, и в глазах его какое-то бесконечное счастье. Я сначала думал, что это у него после войны, что живой остался. Но нет, он всегда что-нибудь добавит. «Эх, – говорит, – не слышало то ухо, не видел то глаз, не пришло то на ум человеку, что уготовал Господь любящим Его».

Умер он спокойно и тихо. В воскресенье после службы

позвал всех к себе на именины, накормил вкусным пирогом из рыбы, помыл посуду, лег на лавку, да и помер. Бабушка сказала:

– Устал старик. Перекрестился, закрыл глаза, и нет его.

Она с тех пор все сидела у окна и ждала смерть, как невеста ждет жениха, который отлучился сразу после свадьбы.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.